

# XXXVIII

Так что же делать? Что же нам делать? Этот вопрос, включающий в себя и признание того, что жизнь наша дурна и неправильна, и вместе с тем как бы отговорку о том, что всё-таки переменить этого нельзя, — этот вопрос я слышал и слышу со всех сторон, и потому я только и выбрал этот вопрос заглавием всего этого писания. Я описывал свои страдания, свои искания и свои разрешения этого вопроса. Я такой же человек, как все, и если отличаюсь чем-нибудь от среднего человека нашего круга, то главное тем, что я больше среднего человека служил и потворствовал ложному учению нашего мира, больше получал одобрений от людей царствующего учения и потому больше других развратился и сбился с пути. И потому думаю, что решение вопроса, который я нашел для себя, будет годиться и для всех искренних людей, которые поставят себе тот же вопрос.

Прежде всего на вопрос, что делать, я ответил себе: не лгать ни пред людьми, ни пред собою, не бояться истины, куда бы она ни привела меня.

Мы все знаем, что значит лгать перед людьми, но лжи перед самими собой мы не боимся; а между тем самая худшая, прямая, обманная ложь перед людьми ничто по своим последствиям в сравнении с той ложью перед самим собой, на которой мы строим свою жизнь.

Вот той-то ложью нужно не лгать, чтобы быть в состоянии ответить на вопрос, что делать. И в самом деле, как же ответить на вопрос, что делать, когда всё, что я делаю, вся моя жизнь основана на лжи, и я эту ложь старательно выдаю за правду перед другими и перед самим собой? Не лгать в этом смысле значит не бояться правды, не придумывать и не принимать придуманных людьми изворотов для того, чтобы скрыть от себя вывод разума и совести; не бояться разойтись со всеми окружающими и остаться одному с разумом и совестью; не бояться того положения, к которому приведет правда, твердо веруя, что то положение, к которому ведет правда и совесть, как бы страшно оно ни было, не может быть хуже того, которое построено на лжи. Не лгать в нашем положении людей привилегированных, умственного труда — значит не бояться учестья.

Может быть, уже так много должен, что и не рассчитаешься; но как бы ни много было, всё лучше, чем не считаться, как бы ни далеко зашел по ложной дороге, всё лучше чем продолжать итти по ней. Ложь перед другими только невыгодна: всякое дело решается всегда прямее и короче правдой, чем ложью. Ложь перед другими только запутывает дело и отдаляет решение; но ложь перед самим собою, выставляемая за правду, губит всю жизнь человека. Если человек, выбравшийся на ложную дорогу, признает ее настоящею, то всякий шаг его по этой дороге отдаляет его от цели; если человек, долго идущий по этой ложной дороге, сам догадается или ему скажут, что это дорога ложная, но он испугается мысли о том, как далеко он заехал в сторону, и постарается уверить себя, что он, может-быть, и тут выедет на путь, то он никогда не выедет. Если человек сробеет перед истиной и, увидав ее,

не признает ее, а примет ложь за истину, то человек никогда не узнает, что ему делать. Мы, люди не только богатые, но люди привилегированные, так называемые образованные, так далеко зашли по ложной дороге, что нам надо или большую решительность, или очень большие страдания на ложной дороге для того, чтобы опомниться и признать ту ложь, которой мы живем. Я увидел ложь нашей жизни благодаря тем страданиям, к которым меня привела ложная дорога; и я, признав ложность того пути, на котором стоял, имел смелость идти, прежде только одною мыслью, туда, куда меня вели разум и совесть, без соображения о том, к чему они меня приведут. И я был вознагражден за эту смелость.

Все сложные, разрозненные, запутанные и бессмысленные явления жизни, окружавшие меня, вдруг стали ясны, и мое прежде странное и тяжелое положение среди этих явлений вдруг стало естественно и легко.

И в новом положении этом определилась совершенно точно моя деятельность — совсем не та, какая представлялась мне прежде, но деятельность новая, гораздо более спокойная, любовная и радостная. То самое, что прежде пугало меня, стало привлекать меня. И потому я думаю, что тот, кто искренно задаст себе вопрос, что делать, и, отвечая на этот вопрос, не будет лгать перед собой, а пойдет туда, куда поведет его разум, тот уже решил вопрос. Если он только не будет лгать перед собой, он найдет, что, где и как делать.

Одно только, что может помешать ему в отыскании исхода, — это ложно высокое о себе и о своем положении мнение. Так это было со мной, и потому другой, вытекающий из первого ответ на вопрос, что делать, для меня состоял в том, чтобы покаяться во всем значении этого слова, т. е. изменить совершенно оценку своего положения и своей деятельности: вместо полезности и серьезности своей деятельности признать ее вред и пустяшность, вместо своего образования признать свое невежество, вместо своей доброты и нравственности признать свою безнравственность и жестокость, вместо своей высоты признать свою низость. — Я говорю, что, кроме того, чтобы не лгать перед самим собой, мне нужно еще было покаяться, потому что, хотя одно и вытекает из другого, ложное представление о моем высоком значении так срослось со мною, что до тех пор, пока я искренно не покаялся, не отрешился от той ложной оценки, которую я сделал сам себе, я не видал большей части той лжи, которую я лгал перед собой. Только когда я покаялся, т. е. перестал смотреть на себя как на особенного человека, а стал смотреть, как на человека такого же, как все люди, только тогда путь мой стал ясен для меня. Прежде же я не мог отвечать на вопрос, что делать, потому что самый вопрос я ставил неправильно.

Пока я не покаялся, я ставил вопрос так: какую избрать деятельность мне, человеку, приобретающему то образование и те таланты, которые я приобрел? Как отплатить этими талантами и этим образованием за то, что я брал и беру у народа? Вопрос этот был неправилен потому, что он включал в себя ложное представление о том, что я не такой же человек, а особенный, призванный служить людям теми талантами и образованием, которое я приобрел 40-летним упражнением. Я задавал себе вопрос, но в сущности уже отвечал на него вперед тем, что вперед уж определял тот род мне приятной деятельности, которую я призван был служить людям. Я собственно спрашивал себя, как мне, такому прекрасному писателю, приобретающему столько знаний и талантов, употребить их на пользу людям.

Вопрос же надо было поставить так, как бы он стоял для ученого раввина, прошедшего курс талмуда и выучившего число букв всех священных книг и все тонкости своей науки. Вопрос как для раввина, так и для меня должен был стоять так: что мне, прошедшему, по несчастью моих условий, лучшие учебные года, вместо приучения к труду, в изучении грамматики, географии, юридических наук, стихов, повестей и романов, французского языка и фортепианной игры, философских теорий и военных упражнений, — что мне, прошедшему лучшие годы моей жизни в праздных и развращающих душу занятиях, — что мне делать, несмотря на эти несчастные условия прошедшего, чтобы отплатить тем людям, которые во всё это время кормили и одевали меня, да и теперь продолжают кормить и одевать меня? Если бы вопрос стоял так, как он стоит передо мной теперь, после того, как я покался, — что мне делать, такому испорченному человеку? — то ответ был бы легок: стараться прежде всего честно кормиться, т. е. выучиться не жить на шее других и, участь этому и выучившись, при всяком случае приносить пользу людям и руками, и ногами, и мозгами, и сердцем, и всем тем, на что заявляются требования людей.

И потому-то я говорю, что для человека нашего круга, кроме того, чтобы не лгать перед другими и собой, нужно еще покаяться, соскрести с себя вросшую в нас гордость своим образованием, утонченностью, талантами и сознать себя не благодетелем народа, передовым человеком, который не отказывается поделиться с народом своими полезными приобретениями, а признать себя кругом виноватым, испорченным, никуда ненужным человеком, который желает исправиться и не то что благодетельствовать народу, но перестать только оскорблять и обижать его. Я слышу часто вопросы хороших молодых людей, сочувствующих отрицательной части моего писания и спрашивающих: ну, так что же мне делать? что делать мне, кончившему курс в университете или в другом заведении, для того чтобы быть полезным? Молодые люди эти спрашивают, а в глубине души у них уже решено, что то образование, которое они получили, есть их великое преимущество, и что служить народу они желают именно этим своим преимуществом. И потому одно, чего они никак не сделают, это то, чтобы искренно, честно отнестись критически к тому, что они называют своим образованием: спросить себя, хорошие или дурные свойства суть то, что они называют своим образованием. Если же они сделают это, то они неизбежно будут приведены к необходимости отречься от своего образования и к необходимости начать учиться снова, а это одно и нужно. Они никак не могут решить вопроса: что делать, потому что вопрос этот стоит для них не так, как он должен стоять. Вопрос должен стоять так: как мне, беспомощному, бесполезному человеку, по несчастью моих условий погубившему лучшие учебные года на развращающее душу и тело изучение научного талмуда, поправить эту ошибку и выучиться служить людям? А он у них стоит так: как мне, приобретшему столько прекрасных знаний человеку, быть этими прекрасными знаниями полезным людям? И потому-то такой человек никогда не ответит на вопрос — что делать, до тех пор, пока он не покается. И покаяние не страшно, так же как не страшна истина, и так же радостно и плодотворно. Стоит принять истину совсем и покаяться совсем, чтобы понять, что прав, преимуществ, особенностей в деле жизни никто не имеет и не может иметь, а обязанностям нет конца и нет пределов, и что первая и несомненная обязанность человека есть участие в борьбе с природою за свою жизнь и жизнь других людей.

И это-то сознание обязанности человека и составляет сущность третьего ответа на вопрос — что делать?

Я старался не лгать перед собой, я старался выварить из себя остатки ложного мнения о значении моего образования и талантов и покаяться; но на дороге решения вопроса, что делать, становилось новое затруднение: дел так много разных, что надо было указание на то, что именно делать. И ответ на этот вопрос дало мне искреннее покаяние в том зле, в котором я жил.

Что делать? Что именно делать? — спрашивают все и спрашивал я до тех пор, пока под влиянием высокого мнения о своем призвании не видел того, что первое и несомненное дело мое было то, чтобы кормиться, одеваться, отопляться, обстраиваться и в этом же самом служить другим, потому что, с тех пор как существует мир, в этом самом состояла и состоит первая и несомненная, обязанность всякого человека.

В самом деле, в чем бы человек ни полагал своего призвания: в том ли, чтобы управлять людьми, в том ли, чтобы защищать своих соотечественников, совершать ли богослужение, поучать ли других, придумывать ли средства для увеличения приятностей жизни, открывать ли законы мира, воплощать ли вечные истины в художественных образах, — для разумного человека обязанность его участвовать в борьбе с природою для поддержания жизни и своей и других людей всегда будет самая первая и самая несомненная. Обязанность эта будет первой уже потому, что людям нужнее всего их жизнь, и потому для того, чтобы защищать и поучать людей и делать их жизнь более приятной, надо сохранять самую жизнь, а между тем мое неучастие в борьбе, поглощение чужих трудов есть уничтожение чужих жизней. И потому безумно служить жизни людей, уничтожая жизни людей, и нельзя говорить, что я служу людям, когда я своей жизнью очевидно врежу им.

Обязанность человека борьбы с природою для приобретения средств жизни всегда будет самой первой и несомненной из всех других обязанностей, потому что обязанность эта есть закон жизни, отступление от которого влечет за собой неизбежное наказание — уничтожение или телесной или разумной жизни человека. Если человек, живя один, уволит себя от обязанности борьбы с природой, он тотчас же казнится тем, что тело его погибает. Если же человек уволит себя от этой обязанности, заставляя других людей, губя их жизнь, исполнять ее, то он тотчас же казнится уничтожением разумной жизни, т. е. жизни, имеющей разумный смысл.

В этом одном деле получает человек, если уже разделять его, полное удовлетворение телесных и духовных требований своей природы: кормить, одевать, беречь себя и своих близких есть удовлетворение телесной потребности, делать то же для других людей — удовлетворение духовной потребности. Всякая другая деятельность человека только тогда законна, когда она направлена на удовлетворение этой первейшей потребности человека, потому что в удовлетворении этой потребности состоит и вся жизнь человека.

Я так был извращен своей прошедшей жизнью, так скрыт в нашем мире этот первый и несомненный закон Бога или природы, что мне показалось странным, страшным, стыдным даже исполнение этого закона, как будто может быть страшно, странно и стыдно исполнение вечного несомненного закона, а не отступление от него.

Сначала мне представлялось, что для исполнения этого дела нужно какое-то приспособление, устройство, сообщество единомышленных людей, согласие семьи, жизнь в деревне; потом представлялось совестным как будто выказываться перед людьми, делать такое непривычное в нашем быту дело, как телесный труд, и я не знал, как взяться за него. Но стоила мне понять, что это не есть какая-нибудь исключительная деятельность, которую нужно выдумать и устроить, а что эта деятельность есть только возвращение из ложного положения, в котором я находился, к естественному, есть только исправление той лжи, в которой я живу, — стоило мне сознать это, чтобы устранились все эти затруднения. Устраивать и приспособлять и ожидать согласия других никогда не нужно было, потому что всегда, в каком бы я ни был положении, были люди, которые кормили, одевали, отопляли кроме себя и меня, и везде при всех условиях я мог делать это сам для себя и для них, если у меня доставало времени и сил. А испытывать ложный стыд в занятии непривычным и как бы удивительным для людей делом я тоже не мог, потому что, не делая этого, я испытывал уже не ложный, а настоящий стыд.

И тут-то, придя к этому сознанию и практическому из него выводу, я был вознагражден вполне за то, что не заробел перед выводами разума и пошел туда, куда они вели меня. Придя к этому практическому выводу, я был поражен легкостью и простотою разрешения всех этих вопросов, которые мне прежде казались столь трудными и сложными. На вопрос, что нужно делать, явился самый несомненный ответ: прежде всего, что мне самому нужно: мой самовар, моя печка, моя вода, моя одежда — всё, что я могу сам сделать. На вопрос, не странно ли это будет перед людьми, делавшими это, оказалось, что странность эта продолжалась только неделю, а после недели сделалось бы странным, если бы я возвратился к прежним условиям. На вопрос, нужно ли организовать этот физический труд, устроить сообщество в деревне, на земле, оказалось, что всё это не нужно, что труд, если он имеет своею целью не приобретение возможности праздности и пользования чужим трудом, каков труд наживающих деньги людей, а имеет целью удовлетворение потребностей, сам собою влечет из города в деревню, к земле, туда, где труд этот самый плодотворный и радостный. Сообщества же не нужно было никакого составлять потому, что человек трудящийся сам по себе, естественно примыкает к существующему сообществу людей трудящихся. На вопрос о том, не поглотит ли этот труд всего моего времени и не лишит ли меня возможности той умственной деятельности, которую я люблю, к которой привык и которую в минуту самомнения считаю не бесполезною другим, ответ получился самый неожиданный. Энергия умственной деятельности усилилась и равномерно усиливалась, освобождаясь от всего излишнего, по мере напряжения телесного. Оказалось, что, отдав на физический труд восемь часов — ту половину дня, которую я прежде проводил в тяжелых усилиях борьбы со скукою, у меня оставалось еще восемь часов, из которых мне нужно было по моим условиям только пять для умственного труда; оказалось, что если бы я, весьма плодовитый писатель, 40 почти лет ничего не делавший кроме писания и написавший 300 листов печатных, — если бы я работал все эти 40 лет рядовую работу с рабочим народом, то, не считая зимних вечеров и гулевых дней, если бы я читал и учился в продолжение пяти часов каждый день, а писал бы по одним праздникам, по две страницы в день (а я писал по листу печатному в день), то я написал бы те же 300 листов в 14 лет. Оказалось удивительное дело: самый простой арифметический расчет, который может сделать семилетний мальчик и которого я до сих пор не мог сделать. В сутках 24 часа; спим мы 8 часов, остается 16. Если какой бы то ни было человек умственной деятельности посвятит на

свою деятельность 5 часов каждый день, то он делает страшно много. Куда же деваются остальные 11 часов?

Оказалось, что физический труд не только не исключает возможности умственной деятельности, не только улучшает ее достоинство, но поощряет ее.

На вопрос о том, не лишит ли этот физический труд меня многих безвредных радостей, свойственных человеку, как наслаждение искусствами, приобретение знания, общения с людьми и вообще счастья жизни, оказалось совершенно обратное: чем напряженнее был труд, чем больше он приближался к считающемуся самым грубым земледельческому труду, тем больше я приобретал наслаждений, знаний и приходил тем более в тесное и любовное общение с людьми и тем более получал счастья жизни.

На вопрос о том (так часто слышанный мною от людей не совсем искренних), какой результат может произойти от такой ничтожной капли в море, от участия моего личного физического труда в море поглощаемого мною труда, получился тоже самый удивительный и неожиданный ответ. Оказалось, что стоило мне сделать физический труд привычным условием своей жизни, чтобы тотчас же большинство моих ложных, дорогих привычек и требований при физической праздности сами собой, без малейшего усилия с моей стороны, отпали от меня. Не говоря уже о привычках обращать день в ночь и обратно, о постеле, одежде, условной чистоте, прямо невозможных и стесняющих при физическом труде, пища, потребность качества пищи совершенно изменились. Вместо сладкого, жирного, утонченного, сложного, пряного, на что тянуло прежде, стала нужна и более всего приятна самая простая пища: щи, каша, черный хлеб, чай в прикуску. Так что, не говоря уже о влиянии на меня примера простых рабочих людей, довольствующихся малым, с которыми я при физической работе приходил в общение, самые потребности незаметно изменились вследствие рабочей жизни, так что моя капля физического труда в море общего труда, по мере моей привычки и усвоения приемов работы, становилась всё больше и больше; по мере же плодотворности моего труда и требования мои труда от других становились всё меньше и меньше, и жизнь естественно, без усилий и лишений приближалась к такой простой, о которой я не мог и мечтать без исполнения закона труда. Оказалось то, что самые дорогие требования мои от жизни — именно требования тщеславия и рассеяния от скуки — происходили прямо от праздной жизни. При физической работе не было места тщеславию и не было нужды в рассеянии, так как время было приятно занято, и после усталости простой отдых за чаем, за книгой, за разговором с близкими был несравненно приятнее театра, карт, концерта, большого общества — всех тех вещей, которые нужны при физической праздности и стоят дорого.

На вопрос о том, не расстроил ли бы этот непривычный труд здоровья, необходимого для возможности служения людям, оказалось, что, несмотря на положительные утверждения знаменитых врачей, что физический напряженный труд, особенно в мои года, может иметь самые вредные последствия (а что лучше шведская гимнастика, массаж и т. п. приспособления, должны заменить естественные условия жизни человека), оказалось, что чем напряженнее был труд, тем я сильнее, бодрее, веселее и добрее себя чувствовал. Так что оказалось несомненно то, что точно так же, как все те ухищрения человеческого ума: газеты, театры, концерты, визиты, балы, карты, журналы, романы суть

не что иное, как средство поддерживать духовную жизнь человека вне его естественных условий труда для других, что точно таковы же все гигиенические и медицинские ухищрения человеческого ума для приспособления пищи, питья, помещения, вентиляции, отопления, одежды, лекарств, вод, массажа, гимнастики, электрических и всяких других лечений, — что все эти хитрости-мудрости суть только средства поддержать телесную жизнь человека, изъятую из естественных ее условий труда. Оказалось, что все те ухищрения человеческого ума для приятного устройства жизни физически праздных людей совершенно подобны тем хитростям, которые бы придумывали люди для устройства в герметически закрытом помещении, посредством механических приборов, испарения и растений, наилучшего для дыхания воздуха, когда стоит только открыть окошко.

Все выдумки медицины и гигиены для людей нашего круга подобны тому, что придумывал бы механик для того, чтобы, растопив неработающий паровик и заткнув все клапаны, сделать так, чтобы паровик не разорвало. Вместо всех сложнейших и поглощающих столько трудов устройств увеселений, комфорта и медицинских и гигиенических приспособлений, долженствующих спасать людей от их духовных и телесных болезней, нужно только одно: исполнять закон жизни — делать то, что свойственно не только человеку, но и животному, — выпускать заряд энергии, принимаемый в виде пищи, мускульным трудом; говоря простым языком — зарабатывать хлеб, не работавши не есть, или сколько поел, столько и сработал.

И когда я ясно понял всё это, мне стало смешно. Я целым рядом сомнений, исканий, длинным ходом мысли пришел к той необыкновенной истине, что если у человека есть глаза, то затем, чтобы смотреть ими и уши, чтобы слушать, и ноги, чтобы ходить, и руки, и спина, чтобы работать. И что если человек не будет употреблять этих членов на то, на что они предназначены, то ему будет хуже. Я пришел к тому заключению, что с нами, привилегированными людьми, случилось то же, что случилось с жеребцами моего знакомого. Приказчик, не охотник до лошадей и не знаток, получив приказание хозяина поставить на стойло лучших жеребцов, отобрал их из табуна, поставил в стойла, кормил овсом, и поил; но, боясь за дорогих лошадей, не решался никому поручить их, не ездил, не гонял и даже не выводил их. Лошади все сели на ноги и стали никуда не годными. То же случилось и с нами, но только с тою разницей, что лошадей нельзя обмануть ничем, и их, чтобы не выпускать, держали на привязи, нас же держат в таком же неестественном, гибельном для нас положении соблазнами, которые спутали нас и держат, как цепи.

Мы устроили себе жизнь, противную и нравственной и физической природе человека, и все силы своего ума напрягаем на то, чтобы уверить человека, что это-то и есть самая настоящая жизнь. Всё, что мы называем культурой: наши науки и искусства, усовершенствования приятностей жизни, — это попытки обмануть нравственные требования человека; всё, что называем гигиеной и медициной, — это попытки обмануть естественные, физические требования человеческой природы. Но обманы эти имеют свои пределы, и мы доходим до них. Если такова настоящая жизнь человеческая, то лучше уже вовсе не жить, говорит царствующая, самая модная философия Шопенгауэра и Гартмана. Если такова жизнь, то лучше не жить, говорит увеличивающееся число самоубийств привилегированного класса. Если такова жизнь, то и будущим поколениям лучше не жить, говорят потворствуемые наукой медицины и изобретенные ею уловки для уничтожения

женского плодородия.

В Библии сказано, как закон человека: «в поте лица снеси хлеб, и в муках родиши чада». Мужик Бондарев, написавший об этом статью, осветил для меня мудрость этого изречения.[4]

Но nous avons changé tout ça,[5] — как говорит мольеровское лицо, завравшись о медицине и сказавши, что печень на левой стороне. Мы всё это переменили. Людям не нужно работать, чтобы кормиться, это всё будут делать машины, а женщинам не нужно рожать. Наука медицина научит различным средствам, а народу и так слишком много.

По Крапивенскому уезду ходит оборванный мужик. Он был во время войны закупщиком хлеба у провиантского чиновника. Сблизившись с чиновником, увидав его сладкую жизнь, мужик сошел с ума на том, что и он так же, как господа, может не работать, а получать следующее ему содержание от государя императора. Мужик этот называет себя теперь светлейшим военным князем Блохиным, поставщиком военного провианта всех сословий. Он говорит про себя, что он, «окончил всех чинов» и по выслуге военного сословия должен получить от государя императора открытый банк, одежды, мундиры, лошадей, экипажи, чай, горох и прислугу и всякое продовольствие. Человек этот смешон для многих, но для меня значение сумасшествия его ужасно. На вопросы: не хочет ли он поработать, он всегда гордо отвечает: «очень благодарен, это всё управится крестьянами». Когда скажешь ему, что крестьяне тоже не захотят работать, он отвечает: «крестьянам это не затруднительно в управке» (вообще он говорит высоким слогом и любит отглагольные существительные). «Теперь выдумка машин для облегчительности крестьян, — говорит он. — Для них нет затруднительности». Когда у него спросят, для чего он живет, он отвечает: «для разгулки времени». Я всегда смотрю на этого человека, как в зеркало. Я вижу в нем себя и всё наше сословие. Окончить чинов, чтобы жить для разгулки времени и получать открытый банк, между тем как крестьяне, для которых это не затруднительно по выдумке машин, управляют все дела, — это полная формулировка безумной веры людей нашего круга.

Когда мы спрашиваем, что же именно нам делать, ведь мы не спрашиваем ничего, а только утверждаем, только не с такою добросовестностью, как светлейший военный князь Блохин, окончивший всех чинов и лишась разума, что мы не хотим ничего делать. Тот, кто опомнится, не может этого спрашивать, потому что, с одной стороны, всё, чем он пользуется, сделано и делается руками людей, а с другой стороны, как только проснулся и поел здоровый человек, так у него является потребность работать и ногами, и руками, и мозгами. Для того чтобы найти работу и работать, ему нужно только не удерживаться; только тот, кто считает стыдным работу, как дама, которая просит гостью не трудиться отворять дверь, а подождать, пока она позовет для этого человека, только тот может задавать себе вопрос, что именно делать. Дело не в том, чтобы выдумать работу, — работы для себя и для других не переделаешь, — а дело в том, чтобы отвыкнуть от того преступного взгляда на жизнь, что я ем и сплю для своего удовольствия, и усвоить себе тот простой и правдивый взгляд, с которым вырастает и живет рабочий человек, что человек прежде всего есть машина, которая заряжается едой, для того чтобы кормиться, и что потому стыдно, тяжело, нельзя есть и не работать; что есть и не работать — это самое безбожное, противоестественное и потому опасное положение в роде содомского греха.

Только бы было это сознание, и работа будет, и работа будет всегда радостная и удовлетворяющая душевные и телесные требования.

Мне представилось дело так: день всякого человека самой пищей разделяется на 4 части, или 4 упряжки, как называют это мужики: 1) до завтрака, 2) от завтрака до обеда, 3) от обеда до полдника и 4) от полдника до вечера. Деятельность человека, в которой он по самому существу своему, чувствует потребность, тоже разделяется на 4 рода: 1) деятельность мускульной силы, работа рук, ног, плеч и спины — тяжелый труд, от которого вспотеешь; 2) деятельность пальцев и кисти рук, деятельность ловкости мастерства; 3) деятельность ума и воображения; 4) деятельность общения с другими людьми.

Блага, которыми пользуется человек, также разделяются на 4 рода. Всякий человек пользуется, во-первых, произведениями тяжелого труда, хлебом, скотиной, постройками, колодцами, прудами, и т. п.; во-вторых, деятельностью ремесленного труда: одеждой, сапогами, утварью и т. п.; в-третьих, произведениями умственной деятельности наук, искусства и, в-четвертых, установленным общением между людьми.

И мне представилось, что лучше всего бы было чередовать занятия дня так, чтобы упражнять все четыре способности человека и самому производить все те четыре рода блага, которыми пользуются люди, так, чтобы одна часть дня — первая упряжка — была посвящена тяжелому труду, другая — умственному, третья — ремесленному и четвертая — общению с людьми.

Мне представилось, что тогда только уничтожится то ложное разделение труда, которое существует в нашем обществе, и установится то справедливое разделение труда, которое не нарушает счастья человека.

Я, например, занимался всю свою жизнь умственным трудом. Я говорил себе, что я так разделю труд, что писание, т. е. умственный труд, есть специальное мое занятие, а другие нужные мне дела предоставил (или заставил) делать других. Но это, казалось бы, самое выгодное устройство для умственного труда, не говоря уже о своей несправедливости, было невыгодно именно для умственного труда.

Я всю свою жизнь — пищу, сон, развлечения — устраивал в виду этих часов специальной работы и, кроме этой работы, ничего не делал. Из этого выходило, во-первых, то, что я суживал свой круг наблюдения и знаний, часто не имел средства для изучения и часто, задавшись задачей описывать жизнь людей (а жизнь людей есть всегдашняя задача всякой умственной деятельности), я чувствовал свое незнание и должен был учиться, спрашивал о таких вещах, которые знал всякий человек, не занятый специальной работой; во-вторых, выходило то, что я садился писать, но у меня не было никакого внутреннего влечения писать, и никто не требовал от меня писания, как писания, т. е. моих мыслей, а требовалось мое имя для журнальных соображений. Я старался выжимать из себя, что мог: иногда ничего не выжимал, иногда что-нибудь очень плохое и чувствовал неудовлетворенность и тоску. Теперь же, когда я сознал необходимость физической работы, и грубой и ремесленной, выходило совершенно другое: время мое было занято, как ни скромно, но несомненно полезно, и радостно, и поучительно для меня. И потому я отрывался для своей

специальности от этого несомненно полезного и радостного занятия только тогда, когда чувствовал и внутреннюю потребность и видел прямо заявляемые ко мне в моем писательском труде требования.

А эти-то требования и обуславливали только доброкачественность и потому полезность и радость моей специальной работы. Так что оказалось, что занятие теми физическими работами, которые мне необходимы, как и всякому человеку, не только не мешало моей специальной деятельности, но было необходимым условием полезности, доброкачественности и радости этой деятельности.

Птица так устроена, что ей необходимо летать, ходить, клевать, соображать, и когда она всё это делает, тогда она удовлетворена, счастлива, тогда она птица. Точно так же и человек: когда он ходит, ворочает, поднимает, таскает, работает пальцами, глазами, ушами, языком, мозгом, тогда только он удовлетворен, тогда только он человек.

Человек, сознавший свое призвание труда, будет естественно стремиться к той перемене труда, которая свойственна ему для удовлетворения его внешних и внутренних потребностей, и изменит этот порядок не иначе, как только если почувствует в себе непреодолимое призвание к какому-либо исключительному труду, и к этому же труду будут предъявляться требования других людей.

Свойство труда таково, что удовлетворение всех потребностей человека требует того самого чередования разных родов труда, которое делает труд не тягостью, а радостью. Только ложная вера,  $\delta\delta\zeta\alpha$ , о том, что труд есть проклятие, могла привести людей к тому освобождению себя от известных родов труда, т. е. захвату чужого труда, требующего насильственного занятия специальным трудом других людей, которое они называют разделением труда.

Ведь мы только так привыкли к нашему ложному пониманию устройства труда, что нам кажется, что сапожнику, машинисту, писателю или музыканту будет лучше, если он уволит себя от свойственного человеку труда. Там, где не будет насилия над чужим трудом и ложной веры в радость праздности, ни один человек для занятия специальным трудом не уволит себя от физического труда, нужного для удовлетворения его потребностей, потому что специальное занятие не есть преимущество, а есть жертва, которую приносит человек своему влечению и своим братьям.

Сапожник в деревне, оторвавшись от привычного, радостного в поле труда и взявшись за свою работу, чтобы починить или сшить сапоги соседям, лишает себя всегда радостного труда в поле только потому, что он любит шить, знает, что никто не может так хорошо сделать этого, как он, и что люди будут благодарны ему. Но ему не может прийти желание на всю жизнь лишиться себя радостного чередования труда.

Так же староста, машинист, писатель, ученый. Ведь это нам, с нашим извращенным понятием, кажется так, что если конторщика барин разжаловал в мужики или министра сослали на поселение, то его наказали, сделали ему дурное. В сущности же его облагодетельствовали, т. е. заменили его тяжелый, специальный труд радостным

чередованием труда. В естественном обществе это совсем иначе. Я знаю одну общину, где люди сами кормились. Один из членов этого общества был образованнее других, и от него потребовали чтения, к которому он должен был готовиться днем, чтобы читать его вечером. Он делал это с радостью, чувствуя, что он полезен другим и делает дело хорошее. Но он устал от исключительно умственной работы, и здоровье его стало хуже. Члены общины пожалели его и попросили итти работать в поле.

Для людей, смотрящих на труд как на сущность и радость жизни, фон, основа жизни будет всегда борьба с природой — труд, и земледельческий, и ремесленный, и умственный и установление общения между людьми. Отступление от одного или многих из этих родов труда и специальная работа будет только тогда, когда человек специальной работы, любя эту работу и зная, что он лучше других делает ее, жертвует своей выгодой для удовлетворения непосредственно заявляемых к нему требований. Только при таком взгляде на труд и вытекающем из него естественном разделении труда уничтожается то проклятие, наложенное в нашем воображении на труд, и всякий труд становится всегда радостью, потому что либо человек будет делать несомненно полезный и радостный, неотягчительный труд, либо будет иметь сознание жертвы в исполнении труда более тяжелого, исключительного, но такого, который он делает для блага других.

Но разделение труда выгоднее. Для кого выгоднее? Выгоднее поскорее наделать как можно больше сапог и ситцев. Но кто будет делать эти сапоги и ситцы? Люди, поколениями делающие только булабочные головки. Так как же это может быть выгоднее для людей? Если дело в том, чтобы наделать как можно больше ситцев и булавок, то это так; но дело ведь в людях, в благе их. А благо людей в жизни. А жизнь в работе. Так как же может необходимость мучительной, угнетающей работы быть выгоднее для людей? Если дело только в выгоде одних людей без соображения о благе всех людей, то выгоднее всего одним людям есть других. Говорят, что и вкусно. Выгоднее для всех людей — одно, то самое, что я для себя желаю, — наибольшего блага и удовлетворения тех потребностей, и телесных и душевных, и совести, и разума, которые в меня вложены. И вот для себя я нашел, что для моего блага и удовлетворения моих этих потребностей мне нужно только излечиться от того безумия, в котором я жил вместе с крапивенским сумасшедшим, сумасшествив, состоящего в том, что некоторым людям не полагается работать и что всё это должны управлять другие люди, и потому делать только то, что свойственно человеку, т. е. работать, удовлетворяя своим потребностям. И, найдя это, я убедился, что труд для удовлетворения своих потребностей сам собою разделяется на разные роды труда, из которых каждый имеет свою прелесть и не только не составляет отягощения, а служит отдыхом один от другого. Я в грубой форме (нисколько не настаивая на справедливости такого деления) разделил этот труд по тем требованиям, которые я имею в жизни, на 4 отдела, соответственно четырем упряжкам работы, из которых слагается день, и стараюсь удовлетворять этим требованиям.

Так вот какие ответы я нашел для себя на вопрос, что нам делать.

Первое: не лгать перед самим собой, как бы ни далек был мой путь жизни от того истинного пути, который открывает мне разум.

Второе: отречься от сознания своей правоты, своих преимуществ, особенностей перед другими людьми и признать себя виноватым.

Третье: исполнять тот вечный, несомненный закон человека — трудом всего существа своего, не стыдясь никакого труда, бороться с природою для поддержания жизни своей и других людей.

#### Примечания

4. За всю мою жизнь два русских мыслящих человека имели на меня большое нравственное влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне мое мирозерцание. Люди эти были не русские поэты, ученые, проповедники, — это были два живущие теперь замечательные человека, оба всю свою жизнь работавшие мужицкую работу, — крестьяне Сютаев и Бондарев.
5. [мы переменили всё это,]

---

Версия #1

Зверобой создал 28 марта 2025 08:37:48

Зверобой обновил 28 марта 2025 08:38:24